

Л. Мельшин

В мире отверженных

**Записки бывшего каторжника.
Том 1-2**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Л11

Л11 **Л. Мельшин**
В мире отверженных: Записки бывшего каторжника. Том 1-2 / Л. Мельшин –
М.: Книга по Требованию, 2021. – 796 с.

ISBN 978-5-518-01609-5

ISBN 978-5-518-01609-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

лекой провинціальной глуши притащилась въ столицу моя старая мать (какая-то добрая душа „обрушила утесъ на ея грудь“, сообщила ей обо всемъ). Она вся посѣдѣла и согнулась отъ горя, хотя за какіе-нибудь три года передъ тѣмъ я видѣлъ ее вполне бодрой, черноволосой еще женщиной, которой никто не давалъ на видъ больше сорока пяти лѣтъ. На свиданіяхъ со мною она старалась казаться по прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала меня ободрить этимъ! Но я не могъ не видѣть ея опухшихъ отъ слезъ и покраснѣвшихъ глазъ, не могъ не улавливать по временамъ глубокой, глубокой грусти въ ея ласкающемъ взглядѣ, не могъ не догадываться, что она обо мнѣ неустанно хлопочетъ—обиваетъ пороги, кланяется, молить, плачетъ...

Ахъ, проклятые, проклятые дни!.. Сколько вы высосали крови изъ моего сердца, сколько влили въ него яда, сколько отняли лучшихъ силъ... Мимо, мимо! Я не хочу вспоминать васъ. Одно скажу: страшно было послѣднее свиданіе съ матерью. Во снѣ я часто испытывалъ кошмары, но ни одинъ изъ нихъ никогда не могъ сравниться съ болью и ужасомъ нашего прощанья!..

Простились мы часа въ три дня, а въ шесть, какъ объявилъ мнѣ смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню, какъ сейчасъ, что я тогда испытывалъ. Кандаловъ я до тѣхъ поръ не видалъ, какъ не видалъ и бритыхъ головъ; изъ книжныхъ описаній тоже могъ составить лишь слабое понятіе, по той простой причинѣ, что не имѣлъ надобности и охоты вникать въ нихъ. Все это я представлялъ себѣ совсѣмъ иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мнѣ почему-то казалось, напримѣръ, что когда закуютъ въ кандалы, уже нельзя будетъ свободно двигаться, и потому я снѣшилъ насладиться послѣдними минутами свободы, торопливо расхаживая по своей маленькой кѣткѣ, позволявшей дѣлать всего три шага въ одинъ конецъ. И вотъ наступила роковая минута; меня повели въ баню и тамъ опельмовали: обрили гладко-на-гладко ровно половину головы (правую половину въ продольномъ направленіи) и заковали крѣпко-на-крѣпко въ десятифунтовые кандалы съ кольцами, такъ тѣсно обнимавшими щиколку ноги, что съ трудомъ проходило между ними и тѣломъ нижнее бѣлье. Черезъ нѣсколько дней у меня распухли ноги, такъ что принуждены были перековать меня въ болѣе просторныя оковы. Впослѣдствіи я убѣдился, что въ Сибири, особенно восточной, начальство въ этомъ отношеніи снисходительнѣе: и на

кандалы, и на бритые тамъ склонны глядѣть, какъ на устарѣлую и ни къ чему ненужную формальность. Партіи сплошь и рядомъ идутъ раскованныя, держа кандалы въ мѣшкахъ вмѣстѣ съ прочими казенными вещами; головы брѣются тоже безъ особеннаго педантизма, а въ каторжныхъ тюрьмахъ часто и вовсе не брѣются. Не то въ Россіи и въ Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мѣшали бѣжать и скрываться кандалы или бритая голова: обнаженный черепъ легко прикроетъ парикъ, или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить въ пять минутъ, хорошенько ударивъ по кольцу дверью и разбивъ заклепки; иногда достаточно бываетъ и простого сплюсненія кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла черезъ него. Серьезно мѣшаютъ побѣгу только тюремныя стѣны и конвой.

Кандалы и бритые головы, несомнѣнно, имѣютъ въ виду одну только цѣль — надруганіе надъ достоинствомъ человѣка, лишеннаго правъ. Не въ столь отдаленную старину на лицахъ и плечахъ колодниковъ выжигались каленымъ желѣзомъ особыя клейма, и до сихъ поръ еще можно встрѣтить въ Сибири, въ каторжныхъ богадѣльняхъ и на поселеніи, дряхлыхъ стариковъ, имѣющихъ эти ужасныя печати. Но современное просвѣщеніе запрещаетъ уже подобнаго рода безчеловѣчіе, находя его одной изъ разновидностей средневѣковой пытки; оставлены только кандалы и бритые головы... И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцѣлѣвшій пережитокъ? Можно ли не жалѣть, когда время отъ времени замѣчается на этотъ счетъ поворотъ въ сторону реакціи, издаются циркуляры о строгомъ и неукоснительномъ выполненіи закона, и арестантамъ начинаютъ снова по настоящему брить головы и надѣвать на ноги оковы? Припоминая свой личный опытъ, я могу, впрочемъ, сказать, что съ этими послѣдними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели съ бритьемъ: кандалы въ значительной степени опозтизированы преданіемъ и народной пѣсней, они являются въ глазахъ арестантовъ своего рода почетомъ, а не поруганіемъ... Совсѣмъ иное чувство испытывалъ я, глядя на приготовленія солдата-цирульника къ своему отвратительному дѣлу. Бритые головы, кромѣ нравственной муки, причиняло еще обыкновенно и чисто-физическую боль: неумѣлыя руки и тупыя бритвы рѣзали до крови кожу на головѣ, расцарапывали на ней мелкіе прыщики, дѣлали ссадины на естественныхъ неровностяхъ черепа... Кровь, смѣшанная съ обильно

струящимся по головѣ грязнымъ мыломъ, совершающій свою операцію равнодушный и безмолвный палачъ, гримасы и вскрикиванья оперируемой имъ жертвы, — все это превращало въ подлинную пытку тѣ минуты, когда приходилось ждать своей очереди, чтобы быть такъ же отшельмованнымъ и такъ же изувѣченнымъ!... Не говорю уже о необходимости морозить потомъ голый черепъ во время ужасныхъ сибирскихъ холодовъ и схватывать, неизвѣстно во имя чего, простуду, кашель и насморкъ.

Кандалы не разъ уже были подробно описаны въ русской беллетристикѣ. На каждую ногу надѣваютъ по большому желѣзному кольцу, настолько свободному, чтобы между нимъ и тѣломъ могло проходить бѣлье, и настолько тѣсному, чтобы его нельзя было снять съ ноги, и кузнецы наглухо заклепываютъ ихъ. Отъ этихъ колець идутъ двѣ цѣпи, состоящія изъ маленькихъ колечекъ; онѣ сходятся въ одномъ болѣе значительномъ кольцѣ, къ которому прикрѣпляется ремень, замѣняющій арестантамъ поясъ. Такимъ образомъ самыя цѣпи висятъ и при движеніи хлопаютъ васъ по ногамъ и ударяются другъ о дружку—„бряцаютъ“. Кольца, надѣтыя на ноги, вертятся и причиняютъ боль, для устранения которой служатъ особаго рода кожаные „подкандальники“ и „поджилъники“. Въ Восточной Сибири, гдѣ начальство не такъ педантично, какъ въ Россіи, и арестанты носятъ кандалы только для формы, кольца надѣваются прямо на сапоги, и тогда никакихъ подкандальниковъ и поджилъниковъ не нужно. Я давно уже не ношу кандаловъ и описать теперь достаточно ясно, пожалуй, не могъ бы, какъ умудряются арестанты надѣвать на ноги бѣлье и штаны въ томъ случаѣ, если кандалы не снимаются; однако, хорошо помню, что какъ только явилась необходимость въ этомъ, я отлично сообразилъ все безъ чужой помощи. Извѣстно, что нужда научить калачи ѣсть...

Еще хорошо запомнился мнѣ день отъѣзда или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этотъ отъѣздъ. Въ этотъ день мать не пустила ко мнѣ на свиданіе (прощаніе, какъ я рассказывалъ уже, происходило наканунѣ, въ день заковки). Рано утромъ меня посадили въ закрытую карету и помчали на станцію желѣзной дороги. И вотъ тутъ увидѣлъ я нѣчто необычайное, что положительно растерзало мнѣ сердце. Подлѣ самаго окна быстро мчавшейся кареты я увидѣлъ дорогое лицо, искаженное мукой нечеловѣческихъ усилій казаться веселымъ; я

подумалъ сначала, что брежу, галлюцинирую. Заглядываю въ окно—и что же вижу? моя мать—бѣдная, больная старуха,—съ раскраснѣвшимся лицомъ и выбившимися изъ-подъ шляпки жидкими прядями бѣлыхъ, какъ снѣгъ, волосъ, бѣжить рядомъ съ каретой; бѣжить, не слыша подъ собой ногъ и видимо не ощущая усталости, что-то говорить и дѣлаетъ рукой воздушные поцѣлуй... Бѣдняга! она опоздала къ тому моменту, когда меня сажали въ карету, потому что съ ранняго утра бѣгала хлопотать о свиданіи (наканунѣ ничего не могла добиться), и вотъ теперь ей хотѣлось искупить свой проступокъ („опоздала!“) и еще разъ проститься съ безконечно любимымъ сыномъ. Я махалъ ей въ окно рукой (махалъ и сердитый охранитель мой), знаками умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бѣжала она, пока, наконецъ, тѣлесная немощь не одержала верхъ, и карета не умчалась отъ нея... навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакалъ. Больше я не видалъ своей матери, да и никогда въ жизни не увижу, потому что она давно уже спитъ на одномъ изъ сырыхъ кладбищъ бездушнаго города. Но, уже находясь въ Сибири, я получилъ отъ нея письмо, одно мѣсто котораго неизгладимыми чертами врѣзалось въ моей памяти и теперь еще жжетъ сердце горячѣй всякаго огня, больнѣй всякихъ слезъ.

„Послѣ нашего свиданія у окна кареты,—писала она,—я взяла извозчика и поспѣшила на желѣзную дорогу. Но я пріѣхала туда, конечно, позже тебя, какъ ни погоняла злосчастнаго Ваньку, и потому не могла увидѣть тебя, когда ты выходилъ изъ кареты. На платформу меня не пустили, какъ я ни просила, какъ ни молила жандармовъ. На наше несчастье, въ этотъ день отправляли какихъ-то особенно важныхъ преступниковъ и были приняты чрезвычайныя мѣры. Нѣсколько разъ я хотѣла тайкомъ пробраться на платформу, каждый разъ неудачно, за мной приказали слѣдить. Что было дѣлать? Я прибѣгла къ новой хитрости. Сдѣлавъ видъ, что я примирилась съ судьбой и приняла рѣшеніе уйти совсѣмъ, я, выйдя изъ вокзала, вмѣсто того, чтобы отправиться домой, прошла нѣкоторое разстояніе медленными шагами и потомъ, быстро измѣнивъ направленіе, побѣжала въ поле, по рельсамъ, рассчитывая, что поѣздъ будетъ проходить мимо меня, и я, быть можетъ, еще разъ увижу милое личико... Дѣйствительно, мнѣ удалось обмануть бдительность аргузовъ; но, должно быть, я очень ужъ далеко зашла въ поле, и поѣздъ промчался мимо

меня съ ужасающей быстротою, такъ что ни одного лица я не могла различить. Но я утѣшилась мыслью, что хоть ты, быть можетъ, видѣлъ меня... Я стала на возвышеніе, на камушекъ, и усиленно махала платкомъ, пока проносилось черное чудовище“.

Увы! я никого и ничего не видѣлъ... Я не смотрѣлъ въ это время въ окно, мнѣ нигде не хотѣлось глядѣть, даже въ собственную душу, гдѣ было такъ пустынно, такъ темно...

Дальше, какъ я говорилъ уже, все рисуется мнѣ въ какомъ-то смутномъ и беспорядочномъ видѣ не имѣющихъ между собой связи обрывковъ. хлопоты моей матери не пропали даромъ: было сдѣлано предписаніе—вплоть до мѣста назначенія везти меня въ особыхъ условіяхъ отъ уголовной партіи. Поэтому я помѣщался на этажахъ то совершенно одинъ, въ отдѣльной камерѣ, то съ привилегированной категоріей особо-важныхъ, интеллигентныхъ преступниковъ. Если бы не это, я не знаю, какъ бы вынесъ я всѣ трудности дороги въ томъ болѣзненномъ состояніи, въ которомъ въ то время находился... Какъ бы то ни было, почти вплоть до Томска я имѣлъ возможность стоять въ сторонѣ отъ большихъ арестантскихъ массъ. На баржѣ у насъ была особая комната въ каютѣ и особое крошечное отдѣленіе на палубѣ (конечно, тоже съ рѣшеткой), гдѣ можно было дышать свѣжимъ воздухомъ. Отъ общей арестантской палубы оно отдѣлялось простымъ парусиннымъ брезентомъ. Помню, я очень любилъ сидѣть на палубѣ, особенно ночью, и по цѣлымъ часамъ вглядывался въ темные берега Волги и Камы, бѣжавшіе мимо меня. Помню, что эти уходящіе назадъ берега казались мнѣ собственнымъ моимъ прошлымъ, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь въ темную даль, стоящую позади меня, я вздрагивалъ при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передніе же берега, закрытые брезентомъ, выдвигались только маленькими частицами, соразмѣрно съ движеніемъ баржи впередъ; эти берега отождествлялись въ моемъ больномъ воображеніи съ будущимъ, такимъ же, какъ они, неизвѣстнымъ. Днемъ я лежалъ обыкновенно въ каютѣ, забывшись гдѣ-нибудь въ углу, и на палубу выходилъ очень рѣдко. Вотъ почему у меня не осталось ясныхъ воспоминаній о роскоши и прелести волжскихъ и камскихъ ландшафтовъ, которыми такъ восхищаются всѣ вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическомъ освѣщеніи звѣздъ или луны.

Спутниками своими—интеллигентами я сравнительно мало интересовался, хорошо понимая, что, отправляясь въ каторгу, нахожусь среди нихъ лишь какъ временный гость; гораздо больше занималъ меня тотъ міръ, что скрывался тамъ, за брезентомъ, и вскорѣ долженъ былъ стать роднымъ мнѣ. Какъ ни ужасно это слово „роднымъ“, но я ни на минуту не закрывалъ глазъ на истину и не забывалъ, кто я такой передъ лицомъ закона. Впрочемъ, хорошо помню, что долгое время я страшно идеализировалъ арестантовъ и ихъ артельные нравы и обычаи. Они всё рисовались моему воображенію какими-то Стеньками Разинами, людьми беззавтѣной удали и какого-то веселаго отчаянія... Среди маленькой кучки интеллигентовъ кандалный звонъ раздавался какъ-то жидко и прозвонно; но тамъ, за паруснымъ брезентомъ, гдѣ двигались сотни ногъ, звонъ этотъ имѣлъ въ себѣ что-то музыкальное, властное, чарующее... Цѣлые вѣка слышала этотъ звонъ матушка-Волга; въ немъ была передающаяся изъ рода въ родъ поэзія, стихійная, безыскусственная... Тамъ страдаютъ безъ грѣва, безъ жалобы и надежды, страдаютъ, зная, что такъ и нужно, что иначе и невозможно: „не взяла моя—значить, меня бей; а коли я опять сорвусь, такъ ужъ вы не прогнѣвайтесь!“

Особенно такія именно чувства испытывалъ я по отношенію къ этимъ еще невѣдомымъ мнѣ арестантскимъ массамъ, когда по вечерамъ собирался иногда ихъ могучій хоръ, и далеко по Волгѣ разносились, подъ музыку цѣпей, дикіе напѣвы, въ которыхъ слышалась то безконечная грусть, то вдругъ опять безшабашная отвага и удаля.

Полно, братъ, молодець,
Ты вѣдь не дѣвица,
Пей, пей—тоска пройдетъ!

Первая моя попытка ближе подойти къ этому поэтическому міру едва не стоила мнѣ, однако,—чего бы думали, читатели?—глаза?.. Однажды подъ вечеръ, выйдя на палубу, я подошелъ къ самому брезенту и прислушивался къ несвязному шуму и говору, доносившимся изъ большого отдѣленія. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ парусины небольшое прорванное отверстие, къ которому и поспѣшилъ припасть глазомъ, чтобы ознакомиться съ невѣдомымъ мнѣ міромъ. Но не успѣлъ я хорошенько рассмотреть море бритыхъ головъ и всевозможныхъ фигуръ современныхъ Стенекъ Разиныхъ, какъ чья-то грубая рука тенула паль-

цемъ въ мое импровизированное оконце, и я только очень быстрымъ прыжкомъ въ сторону успѣлъ спасти любознательную часть своего тѣла. Больше я уже не осмѣливался подходить къ отверстію; это было первое мое разочарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мнѣ столько лѣтъ жить, первое свидѣтельство того, какой крошечный адъ тьмы и ненужной злости, бессмысленной жестокости представляетъ собой этотъ таинственный міръ, какъ онъ чуждъ мнѣ, и какъ много я долженъ буду выстрадать, живя съ нимъ одной жизнью.

Въ Тюмени я впервые увидѣлъ лицомъ къ лицу огромную партію арестантовъ на переключкахъ, происходившихъ во дворѣ тюрьмы. Боже! какихъ только лицъ тутъ ни было—отъ самыхъ симпатичныхъ и мыслящихъ до самыхъ отталкивающихъ и звѣроподобныхъ, какихъ ни было національностей, какихъ именъ! Въ особенности характерны были имена бродягъ, составлявшихъ почти половину всей партіи: Иванъ Пострадавшій, Петръ Потерпѣвшій, Семенъ Много-горя-видѣлъ, Хвостомъ-на-гору, Махнидраловъ, А я за нимъ, Непомнящій 32 лѣтъ, и такъ далѣе, и такъ далѣе въ томъ же родѣ. Любимыми также фамиліями были: Алмазовъ, Бриллиантовъ, Львовъ, Орловъ, Соколовъ, Буринъ, Вѣтровъ, Скобелевъ, Гурко и т. п. громкія имена.

Но, собственно, только съ Томска я начинаю помнить дорогу и всѣ ея впечатлѣнія довольно живо и отчетливо. Однако, спѣшу еще разъ напомнить читателю, что вѣхаль я хоть и вмѣстѣ съ партіей, но жилъ отдѣльной отъ нея жизнью. Я имѣлъ свою подводку, отдѣльное, „дворянское“ помѣщеніе, пользовался сравнительнымъ спокойствіемъ и комфортомъ. Въ довершеніе всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и случайными моими товарищами съ предупредительной вѣжливостью. Повторяю, что въ это время я былъ лишь дилетантомъ-каторжникомъ, и если, при всемъ томъ, дорога была для меня сплошнымъ кошмаромъ, то я боюсь даже и подумать о томъ, что пришлось бы мнѣ пережить, находясь на общемъ арестантскомъ положеніи!

II.

Прежде всего—что такое этапный путь?

Представьте себѣ по всей линіи безконечнаго сибирскаго пути, который тянется отъ Томска до Стрѣтенска (средоточія Нерчин-

ской каторги), т. е. на пространствахъ трехъ тысячъ верстъ, разбросанныя въ 20—40 верстахъ другъ отъ друга огромныя, мрачныя зданія съ рѣшетчатыми окнами, большею частью ветхія, осунувшіяся, вѣющія холодомъ, одиноко стоящія гдѣ нибудь въ полѣ или на краю села, въ сторонѣ отъ большой дороги. Это и есть такъ называемые этапы—дорожныя тюрьмы, въ которыхъ отдыхаютъ и ночуютъ утомленныя партіи. Точнѣе выражаясь, изъ двухъ такихъ тюремъ одна, поменьше, зовется полуэтапомъ и только другая, побольше и почище, — этапомъ: при послѣднемъ находятся казармы для мѣстной команды солдатъ, конвоирующихъ арестантовъ, и квартира для офицера, неограниченнаго хозяина на пространствахъ двухъ и даже четырехъ подобныхъ тюремъ. На полуэтапахъ партія только ночуетъ, утромъ слѣдующаго дня снова трогаясь въ путь; придя на этапъ, она проводитъ слѣдующій день въ отдыхѣ, называемомъ поэтому „дневкою“. Такимъ образомъ, каждый третій день проходитъ въ бездѣйствіи, и этимъ движеніе партіи, и безъ того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство отъ Томска до Красноярска (500 верстъ) проходится въ мѣсяцъ времени, отъ Красноярска же до Иркутска (1,000 верстъ) въ два мѣсяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрѣе при тѣхъ же условіяхъ—тоже немислимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгимъ тюремнымъ заключеніемъ и обремененные цѣпями, въ своей тяжелой обуви и вѣтромъ подбитыхъ полусубкахъ, всѣ, кромѣ положительно больныхъ и увѣчныхъ, идутъ пѣшкомъ, и проходятъ въ день больше 30-ти верстъ круглымъ счетомъ, безъ отдыха черезъ два дня въ третій, были бы положительно не въ состояніи.

Не могу не сказать тутъ же нѣсколькихъ словъ объ арестантской одеждѣ. Сибирская администрація, ближе знакомая съ климатическими и другими мѣстными условіями, глядитъ сквозь пальцы на присутствіе у арестантовъ въ дорогѣ собственныхъ вещей. Я не говорю о томъ, что, помимо практическихъ соображеній, простая даже справедливость требовала бы менѣе строгаго и формалистически-жесткаго отношенія къ арестантамъ, находящимся въ пути, только что начавшимъ свое многострадальное каторжное поприще, окруженнымъ всевозможными неудобствами и лишеніями; другое дѣло—послѣ прибытія на мѣсто назначенія, гдѣ жизнь имѣетъ прочныя устои, идетъ по разъ установленной колѣѣ. Въ

Россіи чиновники не руководствуются, къ сожалѣнію, ни отвѣченными, ни практическими соображеніями и неукоснительно слѣдуютъ буквѣ инструкцій. Въ Москвѣ у меня отобрали рѣшительно *все свое* и отправили въ дорогу въ одномъ казенномъ одѣяніи, отнявъ даже иголку и нитки, и мнѣ пришлось страшно заблутъ, простужаться и вынести много не нужныхъ ни для кого лишній и страданій. Казенныя вещи не приспособлены ни къ перемѣнамъ погоды и климата, ни къ особенностямъ отдѣльныхъ индивидовъ; все подведено подъ одинъ ранжиръ—и ростъ, и здоровье, и привычки,—тѣло, какъ и душа. Такъ называемые, напр., наушники казенной шапки оказались пришитыми такимъ образомъ, что лежали у меня на спинѣ, точно я былъ заяцъ, а не человѣкъ; ноги мои, завернутыя въ жиденькія холщевыя онучки, тонули, какъ въ бездонныхъ бочкахъ, въ бродняхъ-левіаанахъ, и я не могъ въ нихъ ходить по человѣчески; напротивъ, узкія брюки съ трудомъ натягивались на ноги и немилосердно поролись по всѣмъ швамъ, треща при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи...

Обыкновенно на партію въ четыреста человѣкъ, имѣющую при себѣ столько же пудовъ багажу и изрядное количество стариковъ и больныхъ, дается 30—40 подводъ, половина которыхъ идетъ подъ багажъ („буторъ“) и отправляется въ путь рано утромъ, еще до выступленія партіи. Остается около пятнадцати подводъ для больныхъ и слабыхъ. Ямщики пускаютъ на каждую подводку четырехъ и, только послѣ большой перебранки, пять человѣкъ. Большинство мѣстъ занимается такими больными, право которыхъ на сидѣнье никто не смѣетъ оспаривать, и только очень немного вакансій остается для слабосильныхъ, не могущихъ пройти пѣшкомъ всю 25—40-верстную дорогу. Эти мѣста берутся буквально съ бою, и часто видишь, какъ бѣжитъ свади телѣги какая нибудь беспомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая „дать посидѣть“ ей, а на телѣгѣ возвышается между тѣмъ нахальная фигура здоровеннаго дѣтины, сильнаго своимъ кулакомъ, горломъ и именемъ бродяги. Нужно прибавить къ этому, что распоряженіе свободными мѣстами на подводахъ составляетъ одну изъ статей дохода артельного старосты.

Бродяги, вообще, являются сущимъ наказаніемъ каждой партіи. Это люди по преимуществу испорченные, не имѣющіе за душой, что называется, *ni foi, ni loi*, но они цѣлко держатся одинъ за другого и составляютъ въ партіи настоящее государство въ госу-

дарствѣ. Бродяга, по ихъ мнѣнію, высшій титулъ для арестанта: онъ означаетъ человѣка, для котораго дороже всего на свѣтѣ воля, которій ловокъ, умѣетъ увернуться отъ всякой опасности, уйти отъ всякой кары. Въ плутовскихъ глазахъ каждаго бродяги такъ и написано, что какой, молъ, онъ непомнящій! Онъ не разъ, молъ, бывалъ уже „за моремъ“, т. е. за Байкаломъ, въ каторгѣ, да вотъ не захотѣлъ покориться—ушелъ!.. Впрочемъ, онъ и громко утверждаетъ то же самое, въ глазахъ самому начальству.

— Который разъ идешь, борода?—спрашиваетъ какой-нибудь офицеръ съ добродушно-фамиллярной усмѣшкой.

— Пятый разъ, ваше благородіе,—отвѣчаетъ борода, становясь въ солдатскую позу:—два раза за море ходилъ, два раза въ Иркутскую, да вотъ теперь въ Енисейскую.

— Смотри, мошенникъ, въ шестой разъ пойдешь,—уличу!

— Радъ стараться, ваше благородіе!—отпучивается мошенникъ:—авось, къ тому времю повышение въ чинѣ получите—въ Якутскую переведетесь.

Партія хохочетъ, офицеръ, въ смущеніи, отходитъ въ сторону.

— Что вы съ такими бестіями подѣлаете?—обращается онъ въ сторону интеллигентовъ.

Каторжная часть партіи, особенно въ Западной Сибири, гдѣ бродяги составляютъ большинство, находится обыкновенно въ загонѣ; ихъ меньше, они безправнѣе, запуганнѣе, на нихъ, какъ бы по преимуществу, лежитъ печать отверженія, даже съ арестантской точки зрѣнія: не съумѣлъ, молъ, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари продалъ себя!.. Уваженіемъ пользуются только „вѣчные“, да тѣ, про которыхъ навѣрно знаютъ, что они уже не въ первый разъ идутъ и опять съумѣютъ „сорваться“. Но вообще каторжная часть партіи, по преимуществу, зовется презрительнымъ именемъ „кобылки“ (сибирское названіе саранчи) и „шпанки“ (стадо овецъ). Положительно отказываешься иной разъ вѣрить тому, что рассказываютъ о продѣлкахъ бродягъ въ тюрьмахъ и по дорогѣ, а между тѣмъ не вѣрить нельзя—это неприкрашенные факты. Бродяги—царьки въ арестантскомъ мірѣ, они вертятъ артелью, какъ хотятъ, потому что дѣйствуютъ дружно. Они занимаютъ всѣ хлѣбныя, доходныя мѣста: они—старосты и подстаросты, повара, хлѣбопеки, больничные служители, майданщики, они все и вездѣ. Въ качествѣ старостъ, они не додаютъ кормовыхъ, продаютъ мѣста на подводахъ; въ качествѣ поваровъ, крадутъ мясо изъ общаго котла